

МАКСИМ ОСИПОВ

Свента

Путевой очерк

Памяти родителей

[249]

ИЛ 8/2017

В НУКОВО — самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и, когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, все быстро:

— Откуда?

— Из Вильнюса.

— Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены — проходи.

Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний — “Такси, такси в город, недорого”, как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно — стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехать им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть — не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались — в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, — там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд — как же поздно ты все понимаешь! — да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

— Спедрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

“Рак зэ хасэр лану” — только этого нам не хватало — весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмосковию и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду — “Приезжаем шестой уже год”, “Верим в народ, в страну”.

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

— Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волооча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

— Какие эмоции вызывает у вас это место? — спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

— Для меня Зарасай — не место даже, а время. — Чтоб не искать слова: — Paradise lost, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? — О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

— Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной — впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

— Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: “Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханым москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе — ощущаешь его пронзительность”.

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: “Хочу в Зарасай, где провел столько времени — каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, только не в Зарасай. Это и означает — жить не своей жизнью”.

Тут ветрено, чисто — почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

— Просторно, — улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

— Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один — в Сан-Франциско, другой — в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь — ни навигатор, ни провожатые не нужны.

“Здесь дом стоял...” — двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. “Так вот с кем мы дело имеем...” — сказала мама без выражения, — гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парторг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец — во всякое время. Летом жил наверху, а зимой — тут приблизительно, где теперь стоишь ты. “И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна...”

Стихи стихами — исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались — вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, — тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту “Дельфин”, гэдээровскую, клееную-переклеенную (тогда было принято вещи чинить), два шверта по бокам — препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру — ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд — готовься откренивать! “Мамаша — до свидания, подруга — до свидания, / Иду я моряком в Балтийский флот”. Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже не-

сколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: “Неплохо бы раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его...” — “Ах, эпоксидки!..” Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. “Засранцы” — самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь — на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к “Дельфину” прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов — она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. “Хорошо поработали”, — говорил ты десятилетним мальчиком Йозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. “Да, дали просрать”, — отвечал он мечтательно. Йозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее — если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм “Амаркорд”.

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим — в лес.

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучяй, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки высматривайте указатель. “Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года”. Слово “евреи” на обелиске казалось невозможной смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях — не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа — ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? — решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи — идиш с литовским. “На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев — детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв” — идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение — “из местных”.

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот — в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

— Терпеть, оплакивать, — говорит Томас, — удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет кому за могилкой смотреть. Нет, это не “женщины сырой земле родные”, напротив — поиски бытового выхода из любой, самой страшной, жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, “из местных”, с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: “Поляков — к стенке. Русских — к стенке. Жидов... — он поднимал глаза на отца, — жидов через одного”.

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. *Žydai* — другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио “Свободная Европа” вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день — с пледами и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через дыры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления — такого не может быть! — и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом простой радостью — от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не спрашивать — ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, *Sventes ezers*, — то, что надо. У тебя самого на обложке “*Maksimās*” написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-

ушанке стоял в любую жару, и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР — границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес — больной, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Свенте и не было — одна из причин любить ее, — раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров и машин. А все остальное по-старому: вот он — песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробеуешь по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

“Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек”. Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? “Поэма экстаза”, “Гибель богов” — этот рев ты считал музицированием. “Неритмично, зато фальшиво”, — друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту — тихий, чувственный инструмент, — полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастья. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: “Собрались вместе — говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?” Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? — это даже сложнее, чем переводить стихи.

“Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо действовать так, чтобы мы их меньше боялись”, — отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (дело врачей и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорей назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. “День провела, как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала... А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме”.

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертво-вато тут, тихо — кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швянтас, Швянтайи, Святое озеро и Святая река — названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской грани-

цы. Озеро Швянтас — вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обозначился, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: Šventas ežeras, ехать на юг, на Турмантас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет:

— А вы все узнали, Максим: и дорогу, и озеро.

Да, узнал.

По пути в Вильнюс вы сравниваете впечатления. Для Томаса кульминацией вашей поездки стал грохот грузовиков по булыжнику возле костела, ветер и град, а ты и внимания не обратил. Странно с этими воспоминаниями: бывает, послушаешь целый концерт, а всего-то потом и вспомнишь, что на дирижере носки были красные.

Аисты и холмы, и много воды, небо напоминает голландское, но пейзаж выразительней — из-за холмов. Как бы жилось тут тебе? Да, провинция, но не провинциально, не чересчур. Просто такая страна в Восточной Европе — во многих отношениях только завидовать. Все здесь наладится потихоньку, если не будет воздействий извне.

“Когда я была столпом общества...” — одна немолодая твоя приятельница с этого любит начать свою речь. Может, вправду была. И в Литве есть любители вспомнить о временах, когда Великое княжество простиралось до Черного моря (главным образом, за счет удачных женитьб), но здесь из былого величия не извлекают практических выводов. “Вы просто всего не знаете”, — слышал такое и в Париже, и в Риме от антиевропейски настроенных русских людей. Только и разговоров: там-то и там нас не любят. Друзья мои, больше всего нас не любят дома, в Москве.

“Надо действовать так, чтоб мы меньше боялись...” Тогда тебе не было двадцати, теперь уже больше пятидесяти. Говоришь Томасу:

— Поразительным образом все вернулось. Мои заботы тридцати-с-лишним-летней давности были ровно теми же, что сейчас: 1) не замараться, не испаскудиться, 2) не сесть и 3) не пропустить момент, когда будет пора уезжать насовсем. И надежда прежняя, призрачная: вот проснемся однажды, а весь этот морок закончился.

Обстоятельства вынуждают, однако, не спать, поглядывать в разные стороны, крутить головой. Остроумный приятель твой скажет: у князя Андрея Курбского были похожие настроения. Для Курбского и закончилось все Литвой.

“Выходи к помойке”, — пишет на телефон Vórigis, друг Боречка, большой музыкант, скрипач, недавно он перебрался сюда

из Лондона. Мужественно сражается с литовскими суффиксами — žmogus, žmonija, žmogiškūtis, žmogiškumas (человек, человечество и т. д.), — хотя в Литве, говорят, вполне можно обойтись английским и русским. Кстати, птички над буквами, гачеки, изобрел Ян Гус.

Боречке хочется, чтобы город тебе понравился, он тебя водит туда и сюда, извиняется за всякие некрасивости, вроде той же помойки, подумаешь! Жизнь не богатая, но и не нищая, а главное — запретов, ограничений, шлагбаумов и другого мучительства меньше, чем ты привык за последние годы в Москве. Вильнюс хорош: чисто, но не прилизано. Там, где тебя поселили, — помесь Серпухова с Парижем, а старый город — очень особенный, ни на какой другой не похож.

— Всюду масса проблем, — улыбается хозяин артистического кафе.

Опытный человек, он успел пожить и в Израиле, и в Америке, чуть ли даже не в Иордании, и знает, о чем говорит. А ждет ли он, например, что спецслужбы (кто знает, как они называются?) отожмут у него кафе, и спасибо, если в тюрьму не посадят? И никакая Amnesty International ухом не поведет. Он искренне удивлен: нет, ничего подобного ждать не приходится, какое все-таки счастье, что распался Советский Союз! Ты тоже мечтал об этом, еще до всякой Литвы, еще когда восьмилетним мальчиком читал Диккенса, “Пиквикский клуб”. И знал, что есть такой город Лондон, в книгах, на картах, но увидеть его — не мечтай, сынок.

— Видно, что автор мало знаком с теорией прозы Виктора Шкловского, — произносит один из слушателей, негромко, однако отчетливо. Здоровенный литовец, работает в Вильнюсской обсерватории. Трудно не быть высокомерным, если работаешь в обсерватории.

Разговоры, чтения — по-русски. Для кого тогда, спрашивается, было книжку переводить? Ответ известен: для автора. — Поэтому кто у нас пойдет в магазин? — Это, правда, тебе было сказано совсем в другом месте, хотя и по сходному поводу.

Ужупис, район свободных художников, с шуточной конституцией и правительством (Томас в нем занимает немалый пост) — здесь ты прочтешь свой рассказ “Фантазия”:

— Хьюстон... — произносит Ада задумчиво. — Мы, Андриюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись. <...> Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом... — Ого, у них и израильский паспорт есть?” — и слушатели заулыбаются, и в конце подойдет москвич, твоих приблизительно лет, выпускник физматшколы и доктор на-

ук, — окажется, что квартирка, в которую тебя поместили, — его, он только что не помашет у тебя перед носом лессе-пасе, израильским паспортом, но у него он есть. Значит, рифма найдена, число в ответе получилось целое, не какая-нибудь иррациональная галиматья.

— Приезжайте почаще, а то и давайте уже насовсем. Поверьте, тут есть, что любить.

И дружеские враки будут, и бокал вина — не один. “Вы просто всего не знаете”, — тут никто ничего подобного не говорил. В последний день пребывания в Вильнюсе начинаешь встречать знакомых на улице. Вильнюс способен отвлечь и развлечь — ровно настолько, насколько надо. “Разве мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?” Разделить чувство радости — для этого человеку идеально подходят родители. Все, займи свое место и стань пассажиром, сядь ровно, ремень пристегни.

Мечты отпадают одна за другой — некоторые оттого, что сбылись, но в основном за ненужностью. Отцу хотелось, чтоб ты стал доктором медицинских наук, — зачем? Или: присмотришься было красивое кладбище над Окой, на другой стороне, условишься обо всем с женщиной, которая им заведует, но вдруг это станет совсем ни к чему — тихие, уютные кладбища есть и здесь, под рукой, на твоём берегу.

Там есть, что любить, — это точно. И тут тоже есть, еще как! — только б найти просвет между темными, твердыми дядьками, заслонившими выход, выбраться на простор. Но о дядьках все уже сказано. Вспомни тех, кого любишь, — хотя бы священника, который всех твоих родственников хоронил. “Аристократизм и простота, в нем есть лучшее, что есть в русских людях”. Об этом и думай, на воду смотри, вспомни Литву.

Сильно за полночь ты окажешься дома. Останется выйти в сеть и вместе с родными прочесть из первой главы Иоанна, с начала и по семнадцатый стих — на славянском, английском, немецком, русском. Такая у тебя будет Пасха в этом году.

Таруса, апрель 2017 года